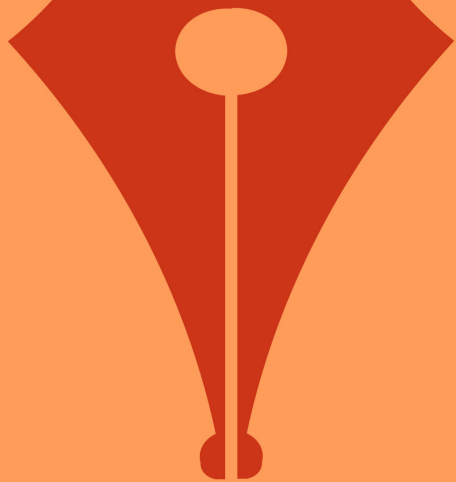


ИВАН БУНИН



ПОД СЕРПОМ
И МОЛОТОМ
(СБОРНИК)

Иван Алексеевич Бунин

Под серпом и молотом

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7601575

Аннотация

Иван Бунин (1870–1953) – первый русский лауреат Нобелевской премии (1933), выдающийся мастер слова, безупречный стилист. Писателю свойственно понимание любви как роковой силы, любви-страсти. Лишь мгновения есть у влюбленных. Подлинное чувство для И. Бунина – всегда недостижимая вершина, к которой стремится человек, но никогда не обретает навсегда, до конца своих дней. В этом и заключена трагичность человеческого существования, обреченного не воплотить свое главное предназначение – любить.

Содержание

Под серпом и молотом	4
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Иван Бунин

Под серпом и молотом

Сборник рассказов и воспоминаний

Под серпом и молотом

Из записок неизвестного

I

Этого старичка я узнал прошлой зимой, ещё при начале царствования Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мёртв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной во-

шёл какой-то мальчишка, который что-то нёс с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несёт ему пшённой каши: старичок питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, постучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, докрасна раскалённая. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешен яркими лубочными картинами – святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки – зелёные, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

– Да-с, тепло! – сказал, грустно усмехаясь, старичок. – Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и окончу своё земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли тёмные, жестокие и,

думаю, надолго. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Так и Россия: вся наша история – шаг вперёд, два назад, к своему исконному – к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? «Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы...» Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители её ещё дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, губительной для него же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина:¹ «Пёс, лижущий пилу, пьёт собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознаёт вреда себе...» Впрочем, всё это вам и без меня хорошо известно. Перейдёмте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

– Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стоявший у входа. Святой, сидя ночью на полу тёмной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил ему по ночам – до самой его кончины. А

¹ *Исаак Сирин* (Сирянин) – отец церкви VII в., род. в Ниневии. Сохранилось в арабском переводе 133 поучения.

при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»

1930 г.

II

Жизнь возобновляется, – ведь идёт шестой год их царства, – даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, – например в какую-нибудь чёрную сырую ночь с этим особенным треском колёс и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда всё течёт, блещет, тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники...

Вместе с весной стало как-то необычнолюдно на главных улицах. Народ, впрочем, всё больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как замороженные звери из своих холодных нор, – бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная чёрная шляпа (ужаснее

тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные верёвкой... Однако очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумлённой улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придётся, в какой-нибудь чайной. Сижу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разговоры и музыку. Какой-нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-чёрными глазами, отставив вперёд ногу, с бешеной страстью жжёт и бьёт смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо ревёт на гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест – из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вёл беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

– Теперь мы Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженная голова имеет форму гроба.

III

Очень далеким стало всё прошлое! Был я однажды в Ха-

мовниках, в доме Толстых. Был вот такой же блестящий апрельский день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли... И какая грусть! Дом пуст, давно не топится, в нём холод, сырость... Особенно грустно в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми чёрной кожей, очень потёртой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Всё бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю ещё Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: чёрный жилет, белая бальная перчатка, палка... Потом – восковая свеча с панихиды по нём... Смотрел – стеснялось дыхание. Как всё хорошо, безжизненно и печально! Век ещё более давний и потому кажущийся ещё тоньше...

IV

В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие посёлки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, – не понятно. Земля скудная и

малая, чернозёмному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пяльцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмеваются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу вёрст. Я о ней слышал между прочим, такое суждение:

– Дивно, как ещё эта Москва веществует!

V

В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от Никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отноше-

ниях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь опять я еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что я опять увижу это «пепелище», пока не увидел собственными глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть всё прежнее, своё, собственное, чьим-то чужим, – чьим именно, никто ещё не знал толком во всей деревне, – странно взглянуть на все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провёл почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натопанная грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стёкла окон, из зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты чёрными кружевами – так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в до-

ме ко мне отнесли, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Провёл я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецкой Никольского Степана, стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились – жили бы себе на спокое, у нас теперь не хуже прежнего, всё хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно по близости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганёнка; дрались весь день, с утра до вечера – цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.

VI

В прекрасный сентябрьский вечер шёл в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампы и лежали цветы.² Возле стояли старичок и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что всё погибло? Нет ещё...» – затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдём, пойдём, ты совсем впал в детство», – и повела его, плачущего, по дорожкам к ворогам.

VII

Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу – день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шёл вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. На солнечном углу, на повороте на Моховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дурной болезни голосом, предлагая прохо-

² 31 мая 1931 г. прах Гоголя был перенесён на Новодевичье кладбище.

жим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и «общедоступное». Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил рот и, вбок прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: «Есть похабненькое...» Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня всё время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображён был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку, последний советский декрет... Я на целый день уехал из Москвы – целый день провёл в деревне, в одной усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шёл к усадьбе со станции, стал ещё очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но и в этом была весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щёки, дует в рукава... Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, её ещё серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души – только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; всё вокруг было тихо, мертво, пустынно –

только тикали какие-то птички по парку; палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец, подошёл сторож с трубкой в зубах, повёл меня к дому, otvorил ключом главные двери и пошёл за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестящих со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубыми белками глаз, мелочными париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли в женскую спальню с кожаной мебелью, с овальным заржавленным зеркалом... Смотрел и думал: как поверить, что всё это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: «Скучно вам, небось, тут?» – «Скучно, – ответил он. – Говорили, новый строй, новый строй, а на деле всё в прежнем положении. Один подлог, обман...» Потом он опять запер дом и ушёл к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в окно в полуподвальный этаж – увидел сквозь железную решетку какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками – львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн...

Ушёл я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке лёгкие апрельские тени под деревьями и се-

ребрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мёртвый дом засветится насквозь, всеми своими пу-
стыми, блестящими покоем...

VIII

Был на суде.

Подсудимый крестьянин Волоколамского уезда. Мальчи-
ком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал
«богомазом». В молодости «ознакомился с революционной
и материалистической литературой», сделался «убежден-
ным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконопи-
сью – вплоть до самого октябрьского переворота. Тут всту-
пил в партию, зачислен был на «первые московские пехот-
ные курсы», «вёл работу по реорганизации кадетских корпу-
сов», после чего был назначен комиссаром тамбовских ко-
мандных курсов, сражался в рядах курсантов «против ма-
монтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей
глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист», и
наконец, демобилизованный в прошлом 23 году, получил на-
значение на должность директора волоколамской фабрики.
«Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего
года и что привело его на скамью подсудимых в московской
Губсуд?»

Перед судом – человек небольшого роста, коренастый,
крепкий, опрятно одетый, с чисто выбритыми щеками и кра-

сиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице, – истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонёрства, по справедливой характеристике газет.

– Подсудимый, расскажите всё дело по порядку.

– Я сблизился с убитой мною Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была проходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю такое оформление брака излишним. Однако она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить её – напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения – тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завиться, напудриться... Вижу: сушая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрезок сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов как коммуниста и борца.

– Так что, собственно, за это вы и убили её?

– Именно за это. И кроме того, за назойливость её.

– Как же было дело?

– На охоте. Пошел 4 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришла в лесок. «Давай, говорит, присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для неё можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твёрдо. Тогда я тотчас выстрелил ей в голову, она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни звука. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало всё содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей.

– А для чего нужно было резать его?

– Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.

– Как долго длилось всё это?

– Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

– Что же вы делали дома?

– Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами.

– А затем?

– Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил,

как обыкновенно, делал своё дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего.

IX

Июль был мрачный – каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стёкла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я уезжал из Москвы к одним знакомым на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от неё кружилась голова...

Знакомые – муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьёзная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески лёгкий в движениях); оба занимаются русской историей, – он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача – недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном посёлке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неудобно. Изба не в посёлке, а как-то сама по себе, на отлёте, на месте срубленного леса, среди пней,

щепы и сучьев. Ещё без фундамента – только на столбах по углам, так что всё заходил под неё чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углём, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зелёный...

Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски – тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и подолу красными ёлочками. И пленилась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она всё твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость – пострадать и в страданиях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала всё загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по её словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько вёрст лесом. Над соснами, над просекой, по

которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно – как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

Х

Наш «Рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чахотка истинно сжигали его, – я ни у кого не видал таких пылающих глаз и такой худобы. А между тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той лёгкости и даже весёлости, с которой нёс он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в своё время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Всё то же оживление, шутки, всё те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, оснуем на Кавказе поселок – под солнцем, у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических дебрях...

– И уж тут с нами не сладишь, – смеясь, говорил он, – батраки, бедняки, коммунисты! И как ещё жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщине...» И что же? Я уверен, что она

счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

– Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его – в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках...

XI

В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церквушка с синим кумполом». Шёл долго, устал. Но весна, тепло, – было очень хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелёными главами, которые мужик назвал синими, весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, – в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нём синих и лазурных облаков...

Теперь тут казармы имени Баумана... Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусо-

ром, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет дырами – вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Рощи 115 десятин. Рощи, числом 5, заповедные. Роща цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятя льну. Скотный двор в нём 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нём 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нём лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски – зелёные, лиловые, синие – густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужи-

чишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленных челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым тёплым картузом, на линючую ситцевую рубашку на впалом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцателей». В ней есть такие строки:

*О, жилище немятежное ближних моих друзей!
Мирное обиталище всех утрудивших в ней!
Ветроград пустынный, краснейший Эдем!
Небурное пристанище, юдоль, сладкая всем!*

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря. Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера – целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами – точно новыми сапогами...

Видел одного местного начётчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледными глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревни, возят

его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убеждённо, сосредоточенно – и не позволяет сказать в ответ себе ни слова. Мужики восхищаются:

– Какие учёные люди ни приезжали – не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьёт – и шабаш!

ХІІІ

На Волге видел Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвёл её к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах всё как было чуть не тысячу лет тому назад – незапамятная и нерушимая Русь: чёрные, средневековые лики икон, чёрная олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром. Он шёл ещё медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и чёрные рясы сопровождающих образ. Все фигуры – и белые и чёрные – сажень ростом, великаны...

XIV

В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией – не то лес, не то парк, дикий, дубравный. На выезде из деревушки – памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез, – церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни – огненный куст настурции.

Кругом, из-под тёмных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше – бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Ещё дальше – развалины дворца, пролёты в развалинах стен...

XV

После дождей – опять светлая, тихая осень. Ехал барином:

заливной звон колокольчиков под расписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка – три задранных клячи, тарантас – допотопная рухлядь, ямщик – в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

– Теперь всё пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь запечатанный. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь – одиноко белеет на самой верхушке; за ней древние земляные укрепления, вековые сосны. Кругом ясная и чёткая пустыня полей и лесов, солнечная тёплая колкость...

XVI

Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка. Это в Москве-то, в двадцать пятом году двадцатого столетия!

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесённого снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спереди и с боков состоящая из теремов с крылечками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что

я тонул по колено. Единственный след чьих-то очень больших ног вёл к главному крылечку. Я пошёл по следу, надеюсь, что в доме кто-нибудь есть, – там теперь музей. Поднялся на крылечко – дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать – ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в тёплом картузе, в длинной стёганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошёл по двору. Я его окликнул:

– Музей открыт?

Он приостановился:

– Закрыт. По воскресеньям только открыт.

– А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

– Да так висит, не снимают...

Я подошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

– А что, интересно в музее?

– Есть люди – интересуются, говорят, хорошо.

– А как по-вашему?

– Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотки... Все собирали...

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

– А где же дом самого Грозного? Средний и есть?

– Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

– Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали... Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошёл снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

XVII

Прошное воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебристая рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа – бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов, ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроуты и смех...

В ризнице – кафтан Грозного: потёртая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами. Концы рукавов истёрты особенно... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие калеки, недужные, «пораженные язвами и червья воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные

платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровавыми, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в чёрной шляпе, другой в рясе – круглолицый красавец Алёша Попович с шелковистой каштановой бородкой, с тёмно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами... Всё ещё Русь, Русь. Но уже на исходе, на исходе.

XVIII

Опять весна, и опять живу в большой глуши – в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

Ты в пустыню суровую,
В места блатные, непроходимые
Поселился еси...

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу ещё заметно место, где была когда-то сторожевая

башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне жёлтые лилии. За валом собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три берёзовых аллеи, в которых поют птицы. Некоторое пространство в этом зелёном кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт то полями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки – розоватыми (от песчаной земли), озими – ярко-зелёными. Дальше, за холмами, леса всё гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зелёные берега. Вечерами под его тяжёлые ворота с золотым крестом над ними идут чёрные фигуры монахинь. Справа – скит, дальше плоскодонный лог, а за ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролёт всё одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идёт к

скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повьется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадёт на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у неё – два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из чёрных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошёл во двор монастыря, прелщённый красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки – полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил её показать, где на монастырском кладбище могилы самые древние. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов – и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся её белый капюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порых и углублениях, суженную к изножью. Буквы, насечённые на ней, покрытые мохом совсем чёрным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Феропонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда всё спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветлённым блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса – темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

XIX

У стен одного из т-ских монастырей встретил монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряжённую в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и чёрной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказы-

вать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого, погребённого в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжёлой собачьей цепи (до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришёл в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услышав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, стоял на ней босиком и в одной рубахе, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду ещё жарче будет!» Как-то раз не пришёл. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон – его всё не было. Когда стихло пошли искать по лесам окрест – не нашли и в лесах. А потом пошёл как-то на медведя мужик – и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зелёной траве, посреди благовонных цветов...

XX

На престольный праздник возле уездного монастыря была

ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводырями стеклоь без счёта.

Во время обедни всё это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра, сожжённые солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепаами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лилового цвета, с дырой посередине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял её остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках) и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчовая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, слышались крики, вопли. Пение, ладан, чёрные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли... Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперёд палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и всё прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представление, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с

замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под её рев и свист поющий во весь звонкий голос:

– Все пташки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом, – кумовья и сваты: раскрасневшиеся от чаю и сивухи лица с мутными, милёнными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады...

Воротясь на постоялый двор, лёг на деревянный диван, очень утомлённый долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. Погода портилась, – в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался всё усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, остро сверкали молнии, сквозь гром и сердитый шум деревьев с ярмарки ревел «Интернационал».

XXI

Был ещё в одном монастыре (опять в другом краю). Пришёл рано утром. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей несло пение. Церковь была пуста – только по обеим сторонам её, против боковых алтарей, стояли в два ряда чёрные монахини, с чётками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на чёрный посох с жёлтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в

высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжизненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорых излиятий вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошёл туда, постучал в дверь. Вышла мужественная монахиня с чёрными внимательными глазами, вся в чёрном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, озарённых солнцем. В одной горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкафами, там стояли два стола для чтения. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, всё продолжая следить за мной серьёзными и даже пронзительными глазами. Я

выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя её, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым шёл ровный лепет зелёной древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Историк монастыря, перечисляя гробницы, даёт и краткие жизнеописания погребённых в них. «В гробнице такой-то погребён такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то – тот-то, убиенный в 1612 году...». В следующей – «отрок Сергей, убитый лошадю; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.